

РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Ефим Гаммер
(г. Иерусалим, Израиль)

ДОМ ПЕТРА ПЕРВОГО
(повесть)



Ефим Гаммер — поэт, прозаик, журналист, художник и (до сих пор) чемпион по боксу. Родился 16.04.1945 в Оренбурге, на Урале. Жил в Риге. Окончил Латвийский госуниверситет, отделение журналистики. В Израиле с 1978 года. Член израильских и международных союзов писателей, журналистов, художников, автор 14 книг, публикуется в журналах России, Израиля, США и европейских стран. В 2005 году стал обладателем Золотого пера национальной российской премии «Золотое перо Руси» в номинации — «проза». 2007 год — лауреат международной премии «Добрая лира», учрежденной в Санкт-Петербурге, в номинации «Художественная литература — крупные формы». 2008 год (Москва) — лауреат Бунинской премии, награжден серебряной медалью. 2010 год — Оргкомитет Международного конкурса «Национальная литературная премия Золотое перо Руси» наградил именной медалью на постаменте с надписью, что Ефим Гаммер является одним из 50-ти «Лучших авторов нового тысячелетия». Награда вручена за создание нового жанра — повести и романа ассоциаций. Персональный сайт Ефима Гаммера: <http://www.yefim-gammmer.com>

В Риге после реставрации открылось здание, в котором когда-то находилась резиденция Петра I.

Но бывшие апартаменты русского царя — вовсе не музей, а доходный дом: здесь оборудованы шикарные квартиры площадью от 100 до 450 кв. м стоимостью в 1,5 тыс. долл. за квадратный метр, магазины и рестораны. Само же здание теперь принадлежит итальянскому бизнесмену Эрнесто Преатони.

Аргументы и факты. № 31, 2000 г.
(Международное издание)

Сначала адрес: Рига, улица Шкюню, 17, или Домская площадь. Потом — характеристика Дома. Дом пятиэтажный, с мансардами, туалет на лестничной клетке, в кабинке. Дом располагает огромным чердаком, где автор этого повествования отыскал когда-то кучу цинкографических клише времен Буржуазной Латвии. Однако Дом был сказкой не только «подпольной» Риги, хранящей негативного толка изо-

бражения умерших в пору настоящего изложения событий латвийских министров и их светлейших жен, но и былинной днѣй, последующих за смертью, да и хранителем сокровенной тайны Петра Великого.

Мало кто знает из людей, живущих ныне, что в этом доме, на третьем этаже, бывать Шахматный Клуб, где встречались за чашкой чая и шахматной доской претенденты на высший в мире титул Таль и Гипслис. Тогда претендентов называли пацанами, и они охотно пожимали руку малолетнему в ту пору автору этого повествования, ибо автор этого повествования жил в ту пору на два этажа выше, и в его распоряжении был чердак. Чердак, если разобраться с умом,— уникальный. Намного раньше, чем автор переселился с улицы Аудею на улицу Шкюню, чердак этот назывался Обществом «Динамо». На чердаке воспитывались любители подраться бесплатно. Известно, что кулачный бой, не организованный судьейской коллегией, обрачивается тюремным сроком. Автор этого повествования предпочитал с малолетства законный мордобой, провозглашенный Рингом как спорт. Поэтому в семилетнем возрасте вместе со своим двоюродным братом Леней Гросманом и друзьями-одноклассниками Левой Прокофьевым и Сашей Дергачевым направился в спортивное общество «Динамо»: адрес — Рига, улица Шкюню, 17. На Домской площади юных молотобойцев, с ножиком в кармане и кожаными перчатками в мечтах, встретили советские солдаты из какой-то гвардейской дивизии. И предложили сперва подраться на кулачках, а потом уже идти в спортивное общество. Солдаты были тоже, очевидно, детьми с одной извилиной, прямой, как Невский проспект. Правда, выглядели вполне взрослыми, и у них были п о г о н ы... Автор этого повествования — говорю без лишней скромности — пустил юшку (кровь) из носа Саши Дергачева. Леня Гросман отколошматил Леву Прокофьева. Солдаты поаплодировали дармовому зрителю; и окровавленные физиономии кинулись на чердак — в бокс. Оказалось, боксом можно заниматься лишь после совершеннолетия. Такие были правила тогда, в 1952 году. Наверное, правила эти писались одновременно с уголовным кодексом, или же одной и той же рукой. Во всяком случае, автор этого повествования боксером стал позже, Леня Гросман, обманутый в ожиданиях, превратился в борца, а затем из Олимпийских Надежд шагнул в инженеры; Лева Прокофьев обмишурился с Надеждами, случайно подсел на неопределенный срок, однако вышел на свободу, как писали газеты «с чистой совестью»; Саша Дергачев, голодный с рождения, преодолел курсы поваров и вышел в Шефы ресторана «Кавказ».

История — пишется... Люди балдеют. А изложение Русской Действительности все еще буксует возле дома № 17 по улице Шкюню. Буксует по простой причине: Этим Домом Правит Вечность. Был в Доме этом шахматный клуб — и исчез. Был в Доме этом, на чердаке, боксерский зал — и пропал. Была в Доме этом Комната Самого Петра Первого — и осталась навсегда. Комнату эту превратили в музей, и водили Туда — за деньги, естественно,— иностранных туристов. В Комнате стояли сапоги Петра Первого, на стене Комнаты висела его шпага; на резной вешалке, тренажном постаменте,— камзол с позументами. Комната всегда была опечатана, и обитатели квартиры тишком, по веской причине, проклинали Петра Первого в отсутствие туристов. Царь Всея России даже после кончины претендовал на разумную по размерам жилплощадь в завоеванной Латвии. Обитателям «коммуналки» он презрительно выставил на обзор свою шпагу, сапоги и пиджак умопомрачительной длины и роскоши. А на дверь повесил сугучную печать и устами новой власти сказал: «Без денег не входи!» Конечно, разреши им, передовым рабочим и служащим, с партийным билетом и без,— войти в Пенаты Царя Всемогущего, они мигом выбросили бы на свалку весь антураж Той допотопной эпохи, и народили в этой Комнате разных чумазных детишек. Но сказано — «без денег не входи», вот и не входили, иначе — тюрьма. Однако — злились, и очень. Их злость, к слову, питало и другое. Общей кухней для

них служил, вероятно по недогляду Горсовета, огромный зал, имеющий нахальство слыть прихожей для Петра Первого. В зале этом ночевал Меншиков, известный бабник и казнокрад. По книжкам — любимец царя и покровитель искусства. Потолок этого зала был украшен невероятной росписью. Девы и Ангелы. Облака и все остальное. Автор этого повествования, вскормленный Моральным Кодексом, не раз краснел — детская наивность непритворна! — от вида витающих в небе женщин с укутанной в прозрачную ткань попкой. Автору всего лишь надо было одолжить — с возвратом — луковицу. Для мамы. Луковицу автор одалживал у тети Маши. А потом луковица эта обжигала ему руки. Насмотрелся, скажет читатель, на груди, торчащие в небе. Действительно, насмотрелся....

Известное дело, взглядом кашу не испортишь, тем более музейную роспись. Портили роспись эту совсем другим способом, и — не специально. Керосинками. Исторический зал, где Меншиков хлебал из бокала шампанское, а Петр лопал знаменитый рижский антрекот, в пятидесятые (и дальше) годы являлся всего лишь коммунальной кухней. Там было жарко, как в аду. И пахло горелым. Это пригорала понемногу антикварная роспись. По оценкам специалистов, она стоила хороший миллион долларов. По оценкам домохозяек, она стоила хорошую тысячу рублей, которых в наличии нет. Домохозяйки были неоднократно биты мужьями. Получалось, — мужья — рабочие и служащие, с партийным билетом и без, — стояли на страже народного достоинства, выраженного в миллионе долларов и голых бабах, помещенных по приказу Меншикова и его покровителя на потолок, читай — в небесах. Наверное, хотя за историческую достоверность не ручаюсь, роспись таила для Меншикова некий тайный смысл: мол, видит око, да зуб неймет. То бишь напоминала о стибренной Петром Катьке. Впрочем, не дело автора соваться в кандидаты абсолютно лишнего для него наук. Но, что не безынтересно, битые мужьями жены были действительно специалистами исторических наук и послесредневековой живописи. Но никто из них кандидатскую не защитил, как и свою поруганную честь. Представьте себе такую картину: борщ кипит, пар валит из кастрюли. Керосинка коптит во все свои богатырские силы. В музейном зале — брожение сердец, дум и нехороших помыслов. Влажный воздух накапливает электрические заряды. И вот бухнуло. Матом! Переводить на русский — бумага не вытерпит, пишущая машинка взорвется, и тоже выдаст по-иностранному, но с прекрасно знакомым нашим ушам акцентом. Удовлетворимся малым...

— Машка!!!!

— Иди сам на!!! И хрен с тобой!!!

— Опять коптишь потолок?! А?! А там нарисовано.....

— Я тебе нарисую!! Я тебя тряпкой по роже!!!!

— Молчи, дура!

— Я бы этого Расстрели растреляла! Мне это искусство все печенки съело!

— Это же денег стоит!!!! Поломаю! Я из тебя, мать твою.....!!!

— А-а-а!!!!

— Ух-х-х!!!!

Дальше — лязг зубовой, и никакого ответа.

Помолчим и мы. Впрочем, нарушим молчание ради короткого некролога, он же — пояснение. Машка, мужем битая неоднократно, любила искусство не меньше своего Петеньки. Вернее, совсем не любила, как и он. В музеи не ходила, в театры тоже. Ходила в дом народного творчества. И то для того, чтобы продать там свое рукоделие: лосей, вышитых крестиком, — на лесной полянке, под налитой янтарным соком луной. Искусство, помещенное вместе с раздетыми до основания бабами на ее потолок, тоже было ей противно. И не из-за голых баб. Нагляделась на себя в своей жизни, а на других — в бане. За искусство, втравленное в ее потолок латышским художником неопознанного времени, и закопченное стараниями товаров-домохозяек,

расплачивалась битой мордой и денежными штрафами. Идиотская система, согласитесь? Раз в полгода, после проверки дел на небосклоне Музейной кухни коммунального значения,— горсовет облагал поборами жителей этой уникальной квартиры. Если бы они ходили в музеи — уверен: им оставалось бы еще и на кино. А так — им оставалось разве что на бутылку и последующие раздоры, и, само собой, семейные драмы Шекспировского размаха. Вскоре к ним мы и перейдем. Но пока посидим рядом с плачущей Машкой и послушаем ее всхлипы. (Перевод с русского: Нужен мне этот Расстрели! Да и ты!.. Шел бы уж!.. Я сама сюда вселилась? Кто виноват? Искусство?! Пропавши оно пропадом! Да и ты!.. Дети кушать хочут? Да и ты? Шел бы уж!..)

Автору представляется: момент назрел; из-за двери в смежную комнату, где прописаны Машенька и Петечка, раздастся вполне современная песенка: «Позабыт, позаброшен с молодых юных лет».

И Этот на мою голову! Чтобы вы все!..

— Двоеженица! — громыкает Петечка и уходит в соседнюю комнату,— иначе будет выпито без него.

Маша — плачет. Плачет еще громче. Садится на табуретку, запрокидывает голову, смотрит сквозь слезы на произведение искусства и думает: «Может быть, оно и впрямь выдающееся. Но почему на мою голову?» Ей больно и тошно, и некому руку пожать. А ведь она сама, Машка эта — истинная реликвия! Лет двадцать назад и ее можно было назвать произведением искусства. Но война — изломала, искохабила... Теперь и штукатурка мало помогает. Набежали годы, забрали вместе с девственностью молодость, наградили ранними морщинами и седой прядью, а хны в магазине с огнем не доищешься, да и ваты нет, и вообще — «шел бы он!..» Только вчера вышел скандал. Явился Этот, горсоветский хмырь, и давай обкладывать штрафом. Опять плати пятьсот рублей — ползарплаты! — на ихнюю реставрацию искусства. Баб налепили на потолок — а ты плати. Петечка говорит — «глаза на жопу натяну!» А что я? Специально? Керосинка коптит, мать ее!.. Скажешь ей разве — «не копти, дура!»? Жить невозможно. А умереть боязно, и дети...

За дверью в комнате приумолкшей, звякнула гитара.

«Мы с тобой повстречались случайно»,— вылилось из замочной скважины. Вздروгнули в пыльном звоне стаканы. Эхом откликнулось на звон:

— Будем!

Искусство во все груди смотрело на Машку сверху вниз. Машке хотелось сказать Такое этому искусству, что внезапно она сама покраснела от смущения, что не случилось с ней действительно давно. И она сказала совсем не то, что сказать задумала.

— А я ведь была офицер, и политрабтник. А вы? Шлюхи! Я бы с вами рядом на очко не села, б...и! И за вас платить? Пошли вы!..

Машка заплакала снова. Ей было обидно. Она понимала: Петечка оскорбил ее с умыслом. Двоеженица! Да, есть такой грех. Двое у нее, этих олухов. Все — правда! И Петечка не мог не знать, что оскорбляет ее с умыслом. Хорошо, что Степка не слышал. А то набил бы ему морду! Впрочем, и набьет. Допьет бутылку, и набьет. Всегда у н и х так кончается. Выпьют, а потом — драться: чья она, Машка, жена? Чья? Она и сама не знает! Двое у нее. И что с них взять, кроме анализа? Герои войны, почти калеки. А дерутся... ох... больно!.. Шли бы они!..

Они? Но прежде о клетушке, именуемой комнатой по недоразумению. Сколько эта клетушка насчитывала квадратных метров, не знал никто. Понятно, метры были засекречены. Понятно, метры, возведенные в квадрат, были засекречены тройне. Но совсем непонятно, почему психиатр, вызывающий на принудительный прием в психолечебницу то Петечку, то Степку, требовал от них подписи о «НЕРАЗГЛАШЕНИИ». Ни Петечка, ни Степка не добивали умом — почему? Психиатр говорил с ними о каком-то неподсудном трехмерном пространстве, а потом задавал наводящий вопрос: «Что из-

вестно вам о четвертом измерении?» Ни Петечка, ни Степка, ни их общие дети не петрили, мало сказать, в трехмерном пространстве, а о четвертом измерении, ясно и фразею из магазина культтоваров, имели самые общие представления.

Заклячая метафизические поползновения к свободной от лишних налогов личности, Степка как-то рыгнул психиатру:

— Я бы с тобой на троих!..

Психиатр усмехнулся: он пил в одиночку.

Петечка клюнул на парапсихологию по-другому:

— Я бы с тобой в разведку не пошел!

Психиатр вновь усмехнулся: он, в отличие от непутевого собеседника, именно работал на разведку, и ходил в эту вышеназванную разведку регулярно, вызывая на собеседования обитателей музейной квартиры.

Предлагаю разъяснение. Дом № 17 по улице Шкюню, вернее — не сам дом, сколько квартира, где был прописан при жизни Петр Великий, числилась на подозрении у Охранки с незапамятных времен. Советская Охранка приняла квартиру у Охранки буржуазной Латвии, которая сберегла в архивах документы Царской Охранки, поставленной, как следует из документов, в тупик. В этой квартире время от времени появлялся Петр Первый, с ним Меншиков и Катька, известная беспутным поведением и любовью к искусству. Царская Охранка не разобралась. Потом ее уничтожили. Охранка буржуазной Латвии тоже не разобралась. Потом ушла в Сибирь, на побывку к замороженным динозаврам. Советская Охранка — самая передовая в мире — решила при помощи психиатра, тоже самого передового, разобраться в нарушениях материализма, вылитого в обличье развенчанного уже саблей и пулей идеализма. И прибегла к сознательности передовых рабочих и служащих, в обличии Петечки и Степки, полных кретинов в области идеализма, впрочем, и материализма тоже. Петечка и Степка соображали только на двоих, и без всяких измов. А если и Машка согласна вкусить, то бегали за добавкой в близлежащий магазинишко, причем бегали по прямой, как некогда олимпийский чемпион Куц. И в эту рекордную минуту не думали ни о каких метрах — линейных, квадратных или квадратно-гнездовых. Думали — литрами, проще — поллитровкой, и были довольны собой: не ошиблись ни на грош, и даже кильки на закуску купили. Им ли понимать психиатра, отягощенного заданием? Или же психиатру понимать их, занятых Вселенскими Проблемами? Вот поэтому они никогда не находили с психиатром общего языка. Он — скажу со всей уверенностью! — получал деньги зря от Советской Охранки и был слишком трезвым, хотя пил в одиночку, чтобы при внезапных появлениях в достопримечательной квартире по улице Шкюню, обнаружить там Петра Великого, Меншикова и Катьку. Говорят, психиатр этот от полной своей профессиональной непригодности запил совсем. Но нас это не касается. Мы о Петечке и Степке. Они отнюдь не запили — денег не хватало! — но Петра видели воочью и не раз. А с ним — Меншикова. А между ними — Катьку.

С Катькой однажды вышла у них промашка. Они — щупать ее, для облачения Потустороннего в жизненную Реальность, а Петр им — в ухо. Вскинулись — за честь! Меншиков возьми да трахни лапшей по заднице Машке. Пришлось — на Меншикова: Машкина честь дороже! Нахватили по зубарикам, дальше некуда! Дальше — милиция! Милиция их и растащила. Каждому по 15 суток за хулиганство. А какое там хулиганство? Честь Машкину защищали! «От кого?» — спросили их в участке. «От Петра Первого и его стержовного любимца Меншикова!» В милиции посмеялись. Дали по подзатыльнику и добавили из исторических учебников: «Нужна Петру честь вашей Машки! Постеснялись бы, вшивоголубчики!» И опять закупили — к психиатру. А он — по мензуркам, но не на троих. Двоим им — и странное питье, выворотное. Зубы от него — виришь, язык сам разматывается. Но — блюли себя. Принцип дороже: раз проговоришь-

ся, десять лет ни за что отсидишь. Вот и молчи, посягая на внутренний взрыв: ну, Машка, держись! Вернемся домой, поломаем!

Домой возвращались. Куда же их, сырых, девать? Дома — опять на двоих, потом говорить — на троих, включая в разговор Машку. Раскраснеются, разопреют. Драке внезапно изменят, обнимут всемирное пространство и во весь голос, чтобы и Петру было тошно, не только соседям,— запоют: «И в огне мы не сгорим!»

И действительно, не сгорали. Были они вытканы двужильными нитками из нержавеющей стали. Потом из этих ниток стали ткать ракеты, чтобы Жучку запустить в космос, и попугать жизнью и смертью Жучкиной, всемогущей, как праздник, и краткой, как следующий за ним похмельный день, нерадивых до научных изысканий американцев.

Грешно смеяться на пустой желудок, но из правды песню не выкинешь. «И в огне мы не сгорим!» — пели люди и впрямь огнеупорные. Действительность выкрала их из легенды. Выкрав, подавилась ими. И сама себя переиначила: стала не действительностью, а лживой бабушкиной сказкой: занимательна для детей, однако веры ей никакой! Даже автор этого произведения, после росказней Степки и Петечки, ловил себя на мысли: слишком все это запредельно, такое в книжках о войне не напишут.

Мы не пишем книжку о войне. Поэтому пристегнем к свидетельству память и доложим читающей публике следующее.

Незадолго до соглашения Риббентроп-Молотов, Степка прямо из ЗАГСа был мобилизован на курсы младших командиров Красной Армии. Старших уже расстреляли, теперь чувствовали нехватку в младших: им через год выводить дивизии из окружения. Машеньке было в ту пору совсем немного здоровых лет, и еще меньше здравого смысла было у нее в наличии. Вот она и кинулась вослед за мужем в казармы, по дороге забеременев. Командир курсов не допустил красу сарафанную до казарм, повернул оглобли ее лошадки в обратную сторону. Машенька от огорчения выкинула в первый раз. Освобожденная от тяжести в животе, обратилась к другому командиру. Тот устроил девушку официанткой в офицерскую столовую, куда мужа ее, курсанта, естественно, не пускали. Лошадь командир пустил на мясо, и Машеньке было что подносить офицерам первые месяцы. Потом, когда с лошадью было покончено, и с командиром тоже — его разоблачили за растрату конины, Машеньку назначили директором офицерской столовой, присвоили ей звание лейтенанта, и досрочно, без излишней мутори, приняли в партию. Произведенная в офицеры и партийцы, она отнюдь не зазналась, И забеременела вторично, все от того же родного мужа Степки, который все еще пребывал в рядовых курсантах и ужасно смущался спать со своей женой, старше его по званию. Честно сказать, спать с женой ему удавалось редко, лишь когда он бегал из казармы в самоволку, нарушая ради оргазма воинскую дисциплину. Однокашники, конечно, завидовали ему: и баба у него, и приварок. Донесли по команде. И однажды Степку сгреб патруль прямо в супружеской койке. Машка в крик. Но криком от «губы» не убережешь, тем более от дисциплинарного взыскания.

Степка предстал перед трибуналом. Машка перед партийной комиссией. Молотов перед Риббентропом, но уже не для умильных лобзаний. Словом, полыхнуло Второй Мировой. Трибунал, переименованный в военно-полевой суд, внезапно обнаружил, что свое заседание проводит во вражеском окружении, и с перепугу произвел Степку в лейтенанты: выводите армию из немецких клещей! все командование нами расстреляно, а замены не прислали! Степка повел армию на контротык и прорвал кольцо. Еще раз прорвал. И вышел со знаменем к передовым Панфиловским частям, стоящим у самой Москвы. Знамя тут же обернулось новой армией, Степку произвели в командующего. Приказали — наступай! Он бы рад, но не обучен. Прорываться к своим обучился — сильна партизанская сметка у русского мужика. А наступать?..

Машка была рядом со Степкой во все дни и месяцы прорыва. Офицерским званием располагала. Партийным билетом тоже. Степка назначил ее замполитом. Она толково доносила до солдат призывы партии и правительства, сочиненные вместе со Степкой. Излишне говорить — газет под руками не было, и товарища Сталина, на его счастье. Машка ораторствовала, вызывая у бойцов любовь непритворным своим красноречием. «Впереди Москва — говорила она взволнованно, придерживая растущий живот.— Там колбаса. Прорвемся и отожремся, товарищи! Будьте бдительны, враг не дремлет! Если мы не прорвемся к Москве, туда прорвется Гитлер и сожрет всю колбасу! А мне лично из особых источников известно, Сталин отдал приказ: Гитлеру — фигу. Колбасу сохранить для нас! Уррра!»

Бойцы редели. Боеприпасы истощались. Машкин живот не вмещался в кальсоны. На подступах к столице-матери — приспело. Баба в слезы: Степа, милай! Не могу больше пропагандировать! Рожать пора!

— Рожай, мать! — скромно сказал Степка, и положил остатки своего воинства вокруг Машки, для обороны.

Роды были тяжелыми, как и сопровождавшая их схватка с гитлеровцами. Машка выкрикивала лозунги, скрежетала зубами от боли. Красноармейцы падали из винтовок по неприятельской пехоте. К ночи все было кончено. В живых остались Степка, Машка и знамя. Младенец не перенес адского грохота и тихо скончался от разрыва барабанных перепонок.

Дальше командующий армией Степка и его замполит Машка отступали уже вдвоем, пока не вышли к своим. Свои, как отмечено выше, уважили Степку, дали ему новую армию и послали назад, теперь уже в наступление. Машку оставили в тылу для поправки здоровья. Машка здоровье поправила, но Степкин след потеряла, как, впрочем, и Степка потерял след всей своей армии, двинув ее на врага. Приказ он отдал — это точно! это он помнил наверняка! Но что произошло дальше — хоть убей! никакого просвета в мыслях. Не обучен он наступлениям. Двинул полки и не успел опомниться, как оказался в плену. Немцам приглянулись Степкины ромбы. Оповестили они по радио: захвачен советский генерал. Советское радио опровергло сообщение это. Степку охарактеризовало «наглым самозванцем». И подчеркнул: в списках высшего командования никогда не значился человек с фамилией Коробейников. Степку, наверное, не успели внести в списки, вычеркнуть успели. Немцы, ослепленные Степкиными ромбами, потянули молодца к микрофону: голосом своим докажи Фоме Неверующему, кто ты есть в сам деле. Степка и доказал. Но не словами, а делом. Исхитрился и из-под носа конвоя — в лес. Дыхание не подвело, ноги выдержали. И врагу не дался, и к своим не попал. Повезло, вот и живым остался.

Живые, занятное положеньице, ищут себе подобных — живых. Этим Степка и занялся сразу, как слинял от немцев. Ему повезло еще раз. Но не совсем. Он нашел в лесу не живых, а полуживых. Вернее сказать, разгромленный медсамбат. В живых были только раненые. Гитлеровцы уважили их человеческое достоинство и оставили их в живых — издыхайте своей смертью. А медперсонал, уличенный не в арийском происхождении — расстреляли. Одно немцы не сделали — догадки творческой у них на пфеннинг. Не изъяли спирт. И полуживые люди лечились от телесных мучений надежным медицинским снадобьем. Веры в спасение не было ни у кого, веры в излечение тоже. Пели песню: «Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела». На звук этой песни и вышел Степка.

Сначала не поверил глазам своим. Потом, когда и ему поднесли мензурку, поверил. И запел со всеми вместе: «Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону».

Пьяные бедолаги понемногу загибались, не осилив — либо мучений, либо спирта. По мнению Степки, пили они «правильно», иначе загнулись бы скорее. Поэтому он провел ревизию спирта, и убедился — спирт не безразмерный. Единственное

лечебное средство подходило к концу. Экономь его теперь, не экономь — все равно выпьют. Тогда Степка, верный командирским своим ромбам, отдал, как считал позже, самый справедливый в Красной Армии приказ: ребята! пей за раз все! отступить нам все равно некуда! умрем с песней!

Приказ воздействовал на раненых самым благотворным образом. Раненые зашуршали зловонными бинтами. Поднесли ко рту. Крякнули. И над прежним медсанбатом, разгромленным, измятым танковыми гусеницами, пахнущим гангреной и алкогольной отрыжкой, грянуло знаменитое: «И в воде мы не утонем, и в огне мы не сгорим!» Проходящая мимо инвалидная немецкая команда — заинтересовалась мелодическими руладами краснознаменного ансамбля Александрова: в инвалидной команде чаще встретишь интеллектуалов, чем в эсэсовских частях. Советские инвалиды приветствовали немецких отборным матом и полным, до отключки, героизмом. «Пей, ребята!» — кричал Степка, разрывая на груди гимнастерку. «Шнапс» — кричали немцы-калеки, погнанные на войну при наличии физических недостатков: плоскостопие, триппер, язва, брюшко и возраст. Крики излучали неподдельную радость и неподдающийся описанию энтузиазм, умноженный дармовой выпивкой. Без лишних церемоний две инвалидные команды побратались и вознесли мензурки к прокопченному войной небу. И — понеслось! Немецкий народ тоже песенный.

— Катюшка, Катюшка, — пели инвалиды Вермахта.

— Их либер вас и все бывшее, — пели инвалиды Красной Армии.

— Выхожу ль в одну ли я дорога? — выводили таланты вражеского племени.

— Серебристый путь у вас в глазах светит, — вторили им собутыльники.

— Товарищ Сталин, вы — надежда мира.

— И безнадега для простых ребят.

— Бокал поднимем, славствуя кумира!

— Ох, мужики, нас смертно наградят.

Инвалиды разных национальностей, коллеги, разделенные линией фронта, пели в унисон, будто заранее, при разучивании победных маршей, выучились хоровому искусству, пригодному во все времена.

Степка пел, как на марше. Надрывал горло — «браво, ребяташки!»

На скосине глаза различил — неподходящую личность. Нет, не немца — немцы все унюхались всмятку. Старшину медицинской службы — Петечку, разносчика мензурок. «Командарм! — сказал Петечка со всей возможной трезвостью. — Ты еще не укнулся?» Степка рыгнул в кулак. А потом Петечке в рожу. «Крепок, мужик! — подобрел Петечка. — Слушай сюды, — придал голосу серьезность, правда с некоторой поспешностью: не дай бог, уличат в пьянстве! — Тебе, командарм, понятна русская душа?» Степка с трудом приоткрыл заплывшие зенки. «Они же, хлопцы наши, сейчас драться зачнут!» Степка махнул рукой — а-а! «Дура! Они ж перепашают эту немчару по еб...нику! Русскому дай выпить, а потом... Международный скандал! Тут же у тебя на виду исторический момент, стало быть. Пьют вместе. А — дальше?» Степка осерчал на старшину: «Да, стало быть, пьют! А тебе — что? Завидно? Морда нерусская!» И хрясть промеж глаз. Петечка — ноги вверх, задницу на землю. И в чересполосицу чувств. «Наших бьют!»

Что тут случилось, — и Пушкину не растолковать. Русские калеки накинудились на немецких. Немецкие на русских. И пошла потасовка — хоть в Голливуд! Для ясности сообщу со слов бывшего моего соседа Степки: русские калеки были и впрямь калеки. В чем душа держалась, никто не знал. Простреленное легкое, ампутированная рука, глаз, вывернутый на жопу. Немецкие калеки — это и не калеки вовсе: триппер, плоскостопие, предпенсионный возраст. Русские калеки дали немецким! Прикурить — не то слово! У кого нет рук — тот зубами — и за яйца! У кого нет ног, тот — словом, и в борцовский захват, не вырвешься до смерти. У кого простреленное лег-

кое — тот в плевок кровавый — и врагу каюк. В этой жуткой схватке самым башковитым, надо признать, оказался Петечка, старшина медицинской службы. Он подносил горящую спичку ко рту и дышал на немца. Немца сжигало подчистую, в плен нечего было брать и на анализы тоже.

Нелишне отметить — первое поражение под Москвой захватчики получили от русских инвалидов, не удостоенных впоследствии звания Героя Советского Союза. Впоследствии с инвалидами поступили совсем по-другому. Об этом мы еще скажем, зная лично Степку и Петечку. Но пока остановимся над открытой нам панорамой Бородинской битвы. Я знавал полковника артиллерии Нечаева, который на Бородинском поле потерял руку, как прадед его в эпоху Наполеона. Полковник Нечаев — в сорок первом — старший лейтенант, дрался не менее храбро, чем прадед. Правда, в других условиях — отступать некуда — за нами Москва! Политрук Клычков оказался умнее фельдмаршала Кутузова. Не отступили. Героизмом превзошли. И вот этот полковник Нечаев, выслушав мой рассказ о Степке, сказал: «Было... а если не было, должно было быть. Наши ребята!.. И Степка твой... Пусть пьян в стельку!.. Но ведь было!.. Сделали! И победили! Как победили? Не спрашивай! Животом! Нам говорят — живот на алтарь Отечества. И — кладем. Отступать некуда. И кладем! Кладем! За нами Москва!»

Полковник Нечаев отвоевался, думаю. Чистую совесть свою и открытое сердце бросил он под танки и выдюжил, как Степка и Петечка, как почти вся русская инвалидная команда, загрызшая после подпитки немецкую. Пьяные до полубессознания русские инвалиды похватили немецкие винтовки и поползли в наступление, туда, где им представлялось, трепыхал вражеский флаг. И взяли с наскоку деревню. Деревню эту пропечатали в сводках Совинформбюро, и туда прибыл корреспондент. Корреспонденту повезло, русским инвалидам не очень. В деревне он отыскал сенсацию: в виде двух повешенных гитлеровцами крестьян. И написал корреспонденцию в центральную газету. Советский Генштаб прочел эту корреспонденцию и уточнил ее содержание по картам: выяснилось — корпус маршала по имени «дважды × два = четыре» запозднился с развертыванием и захватил вышеуказанную деревню позже Октябрьских праздников. Маршала — под зад, а русских инвалидов — по лагерям. Опоздали братцы захватить-освободить, поднять родной флаг над сельсоветом. И никто, в Дознании этом не слушал их в упор: мол, инвалиды мы! мол, не своей волей, по пьянке поднялись из мощей, обросли мясом на пути к победе, и стяг наш алый, всамделел поднимали над сельсоветом, но стяг из кровавых бинтов. Инвалидам, понятно и вражескому лазутчику, не поверили. Смерш отдал приказ: кто стоит на ногах — два шага вперед!

Конечно, из строя вышли двуногие: у одного легкое прострелено, у другого рука осколком отрублена.

Их — в штрафбат, отмывать кровью нечистые свои дела, в переводе с русского на русский: за ратные подвиги вам надлежит вновь проявить героизм под прицелом так называемого заслона с голубыми петлицами и пулеметами. В штрафбате Степка познакомился поближе с Петечкой. И сказал ему однажды, между самоубийственными атаками: — Если убьют, прошу тебя — спаси единственную жену Машку. Она хотела родить из-под меня. Не вышло. Теперь она в Москве. Спаси ее. Роди вместе с нею. Я тебе все прощу, если ты выйдешь из этой заварухи живым».

Петечка вышел. И Степка — потом — тоже.

Но прежде — о Петечке. Каким-то образом ему повезло. Он получил ранение в мягкие ткани. Нет, не подумайте о том, о чем вы думаете. Зад противнику он не показывал. Все очень просто — шрапнель не разбирает, мягкие ткани там, твердые. Шрапнели, как и ее собутыльникам геноссе Гитлеру или товарищу Сталину все равно! Главное — пали! Надо отметить, палили по обе стороны горизонта и допалили:

Петечку — в госпиталь. Степку — к белым медведям. Контужен и крови не пролил. Степка мудаком ерзал по медсамбату, выпрашивая высшей справедливости — расстрела. Сказали — «псих!» И отправили на Колыму: крови не пролил, чего надобно для очистки совести, и — притворяется всем смертям назло. Степка мыл золото на Колыме, чаще — дергался. И куда? На передовую! «Готов смертью храбрых принять...» Дальше Степка в то время писать не мог. Однако, все лагерное начальство осрамило его кликухой — «писатель». Сдох бы он за колючкой, не реабилитированный даже двадцатым съездом, но тут на Затмение нашло Прояснение — и освободили Рокосовского: дерзай! Дали врагу, польского корня, русскую армию, и в Сталинград. Мода вышла: освобождать тех, кто готов погибнуть во славу русского оружия без лишнего слова.

На Колыме почесали за ухом, присвоили себе новые звания, отметились орденами. Полковник Слонимский, в ту пору Царь и Бог над Степкой, возглавлял в шестидесятых некий хитрый отдел инженеров человеческих душ. Автор этого повествования встретил его случайно на слете «победителей походов по местам революционной и боевой славы латышского народа». Какое отношение латышский народ имеет к Колыме, где властвовал полковник Слонимский, автор и по сей день понятия не имеет. Однако, то ли наивность, то ли журналистский зуд... И автор, приуроченный к годовщине победы, набросился на отставника с неординарной иконописью орденов и медалей: и Ленина у него до черта! и Красного Знамени с избытком! А Красной Звезды — будто сам ее ковал серпастым-молоткастым. Автор, тогда человек двадцати четырех лет от роду, недовоспитанный, честно сказать, Степкой и его побратимом, мужем одной из жен Машки, — утайкой от самого себя сознавал: отыскала его душа корреспондентской мерки нового Корчагина, Маресьева, Гринт-Блинд-инд-Заинд-хер-им-наружу! Но автор — не Островский, не Полевой и не Симонов. Автор — всего лишь Гаммер. Военными книжками укатанный, он обратился к Слонимскому. И задал — по автору видно! — серьезный вопрос: за что вы получили свои ордена?

Журналистский блокнот обезручил. Известно, блокнот — сам по себе — ничто. Автор сногшибательных штучек — тоже. Полковник Слонимский доверительно сказал непутевому автору: ордена — секрет для непосвященных. Я был на Колымском фронте. И не надо путать мои, достойные Имени и Звания ордена с моей чистой совестью. Помнится, автор тогда растерялся. Сегодня, читая статьи разоблачающих себя от мундира, но не от орденов; сегодня, вникая в гласность карателей, мудаков, сволочей и создателей новой жизни, автор — все еще готов повторить свой, в ту пору не каверзный вопрос: за что вы получили свои ордена?

Автору лет — много. Спишется вопрос. Но и ответ спишется. Жалко... Был бы магнитофон тогда, в шестьдесят девятом, — ох-хх! Доверьтесь памяти неподцензурной. Полковнику Слонимскому необходимо было выкрутиться из орденов. Ради себя, это понятно сегодня и вашему корреспонденту. Ваш — немного нахальный, когда он повернут святым журналистским искусством в творческую работу. И? поговорил по «душам». Сверзился, проще сказать, с небес на поганую нашу землю. Поговорил и о Степке, не восходя к орденам полковника Слонимского. Странно, однако полковник Слонимский помнил Степку — и не по кубарям, не по ромбам! Помнил: этот идиот вытащил из земли застывший спинной хребет динозавра с приклеенной к нему металлической пластиной. На пластине было что-то написано, но непонятными буквами.

Полковник Слонимский, отодрав пластину от хребта динозавра силой двух тысяч помощников, отправил оную на дознание лично товарищу Сталину. И сидел у себя на Колыме в страхе дичайшем: или голову с плеч, или орден Ленина. Ленина он получил, а потом — по мордасям. Что ты нам прислал, пентюх кирзовый, донимали его

расспросами люди с голубыми петлицами. И били по мордасям в отключке от вопросов. «Вот это и удивительно,— вспоминал полковник Слонимский, когда уже был пьян до неудобоваримого состояния.— Представь себе! Мне ордена — да, заслужил! Ты службы моей не знаешь! Ошибись раз — три расстрела на месте. А я ведь не му-дак, не твой трахнутый подковкой Степка! Я — это Я!!! Гигантские звезды сияли надо мною в безоблачном небе. Пойми, не утрирую, ЗВЕЗДЫ! Ты знаешь, если по секретке? Я был бы на месте Жукова! Да, я, скромный человек, отмеченный высшими правительственными орденами и медалями. Я понимаю сейчас: не по тому адресу направил тогда докладную. Да, война. Да, немцы под Москвой. Но пойми, сорви-голова приплота вашенского, я — и только я — отыскал — засек — понял: космиче-ская телеграмма!.. И для кого? Для товарищи Сталина!.. Мать твою!.. и отослал — себе же во вред. Ты мне про Степку? Хорошо! Мало мы видели Степок на той войне! Степки, согласуюсь с тобой, выдержали, а мы на их хребте победили. Но пойми, мил-ый друг,— хребет динозавра — это нечто другое. На хребте пластина. И не русски-ми письменами писана. Понимаешь? Доходит? Дурак! Там было сказано!..»

Полковник Слонимский затих — ордена мешали военной тайне. Из всего разго-вора я понял тогда: Степка знает больше, чем говорит. В возрасте двадцати четырех лет я вновь пришел по адресу: Рига, улица Шкюню, № 17. Ни Степка, ни Петечка меня не признали. Дрались смертным боем. Один другому кричал — «ты Пушкина не уважаешь!»

— А Машку? — встрял я с журналистским вопросом. И получил по маковке. Больше не встревал. Лежал на общей кровати, где они произвели детей, приплота разного, если судить по кудряшкам и неподсудности этих кудряшек. Передо мной предстал Петр Первый. Сказал: «Не суди!»

У меня и в голове не было...

Сбоку от Петра, слева от шпаги вывернулся Меншиков.

«Не наворовал?»

Я?

Мое понятие о Высших Интересах Государства Российского разбилось о Катьку. Обласкала она меня до жмуриков губками в щечки, а потом — в уста. Я чуть было не взбесился. Доложу откровенно: замудохало под ложечкой, заколдобило. Пусть мне было всего двадцать четыре года от роду! Пусть я храбрым считался среди таких же дохлых сусликов! Пусть я, окромя журналистских дерзаний, промышлял и на рин-ге — победами! Пусть и пусть! Но, честно клянусь, задохнулся от страха. Каково?! Бабища допотопная! И канает, стерва, в объятия! Я не Потемкин, иначе бы наворовал и в своей действительности. Я — простой и славный человек, Фима из старой Ри-ги — должен погибать под какой-то бабищей, моим дремучим мозгом уличенной — в надрыв — Царицей Тамарой, той, что казнила каждого ежедневное...ьника смер-тью? Мне-то на кой? Не нужна, сознаюсь, ни царица русская Екатерина, ни Елизаве-та, ни все, даже взятые сообща, немки русского производства. Русская история от-рыгнется от меня — я понимаю. Но понимает ли русская история? Отвалите!

Представляю сегодня, как я выступал перед Екатеринкой. Уверен — кричал! Убежден — кричал на все сто, то бишь правильно. Однако, не убежден: изнасиловала она меня или нет. Могу утверждать — нет! Для слепорожденных. Но подкинем к аховой ситуации Достоевского с его психоанализом от бутылки и карточного столи-ка. И он, Федя, докажет — «шел бы ты!..»

Ладно, призовем в свидетели Машку.

Даже Петечка не знал, о Степке не говорю,— Машка любила меня: когда прихо-дил к ней за луковицей, всегда давала. А в глазках — блажь: приходи почаще! на Петра посмотришь, шпагу потрогаешь. Ты похож на нашего Иисуса, даже обрезан.

Простите, граждане всемогущего, Спиду с его Эйдцем неподвластного Союза;

можно ли от женских чар очароваться — наизнанку? Можно ли по наиву младенческому выйти за пределы судьбы и осознать? Ладно, не буду вам копить мозги, как коптели прихожую Петра Великого. Сообщу с полным осознанием своего поступка: Т А М — и без дураков — появлялся Петр Первый, с ним Меншиков и Катька. (Проверено — на себе!) Добавлю от себя — Катька Т А М появлялась чаще. Женская душа — потемки. Потемкин — не женская душа. Он Т А М не появлялся. Двинули бы ему по роже — и вот вам выставка фингалов. Отмечу, раз уж взялся за перо: Т А М, в т о й комнате, как может быть и на т о м свете, шпаги — без звона и укола, ни хрена не значат шпаги эти, как дуновение детского несдержания ветров...

Т А М, в т о й комнате, свидетельствую как очевидец о первоочередности, сначала появлялась Катька, за ней Петр, и лишь потом Меншиков. Узнавал ли я Их? Забываю серьезно, раньше, когда мне было двенадцать, я не разбирался в этом нашествии позументов, серег и бриллиантов на разных костюмах, украшенных какой-то еврейской звездой (шестиконечной от рода). Затем, пообщавшись с полковником Слонимским и выудив у него, что Степка не зря, а ради научного интереса рассобачил годы свои молодые на Колыме, где разыскал космическую железку, я доверился истине перочинного ножика, и вновь стал ходить в гости к Степке, понимая — там — Петечка, а за ним, за Петечкой, снова Степка, — и дети. На кровати, помнил всегда, Машка. Если не плачет, то — пьет. Если не пьет — то плачет. И кто виноват? Петечка? Нет, ради Бога! Степка? Да ты с ума сошел! Кто же? Расстрели?.. Милиция?.. Небесная живопись? Или — Космос... Да пошли они!..

Сегодня, с достоверностью слепца могу утверждать: все — пошли. И уже не вернутся. Но — Машкина правда? Но — истина?

Я единственный, к сожалению, кто — доискался. В двенадцать лет был джоже смышлен. В двадцать четыре тоже. Не уверен, что сегодня стал умней других, с хайтеком, но каббалисты величают — «умный». И Степка, не каббалист, говорил то же. И Петечка! А Машка? Оставим Машку. Перейдем к Екатерине, и к недееспособным шпагам властителей покоренной немцами за два века до Гитлера России.

Мою Россию зачал в Риге Степка. На Машке. Петечка подначивал. И начинал мою Россию невообразимыми мордастями. Тоже — и не случайно — на Машке. Догадываюсь, сегодня меня обвиноватят, локотком укажут: не те ландшафты могучие ты, пацан недорезанный, видел. Согласен я — не то видел! Может, и не видел вовсе?! Однако, «Вовси» — тоже еврейская фамилия. Я не буду говорить о профессоре Вовси, я скажу о пустом человеке по кличке «Авось». Кто был этот Авось, как вы думаете? Авось сказал бы по-другому: «Чем вы думаете, товарищ?» У него была жизненная правда, она же — скоба. Он замыкался сам в себе и никогда — говорил мне ни раз — не проигрывал при этом. Проигрывал лишь при недоступных разуму обстоятельствах, к примеру, когда схватит его за плечо приبلудный милиционер. Авось знал наверняка: от милиционера нет спасения, кроме четвертного. Но четвертного у Авося не было ниюгда — иначе напился бы до отключки! Поэтому, вынужденно катил на колесной дощечке за милиционером и гундосил в его поросшее рыжим мехом ухо: «За кого ты меня принимаешь?» Милиционер — надо отдать ему должное и поставить памятник! — отпускал всегда нашего доброго молодца в самой откровенной близости от участка. И Авось каждый раз испытывал невероятные всплески патриотизма — после спасения. И хотелось ему, под всплески прущего наружу патриотизма, надавать оплеух всем встречным плакатам и ИХ вождям. Но он помнил, и при всей отключке от судебного разбирательства засек одну домотканную мысль — Библией привеченную: не в свои сани не садись. Проще простого сказать, наш милый Авось был Человеком. Человек этот знал: его искусственно превратили в животное, и сказали после (с умыслом) — «живи так!» Авось жить Т А К не привык, хотя признавал, так и жил все время. Однако всегда — с малолетства и после — рвался наружу

из этого похабного «Т А К». И... не вырвался. А почему? С у к и этому помешали. Сначала — война! Потом — опять — смерть! Лагерь! Колыма! Но забыли, паскуды: и в воде мы не утонем, и в огне мы не сгорим. О нас думает Космос. На своем нормальном языке.

Полагаю, не лишне заметить: Авось слыл по паспорту Степкой Коробейниковым. Кликуху — «Авось» он получил после войны, когда торчал инвалидом на коляске — роликовой фанерке — недалеко от Рижского рынка. Ордена и медали инвалида приглянулись прилудному офицеру с голубым околышем. Он мигнул ординарцу, и... Но тут случилась неразбериха. Тут случилась, совершенно бесподконтрольно, Машка. Шла на базар — с десяткой. Проклинала все на свете — в те времена и в Риге на десятку не очень-то купишь курочку, угорька, бекончик. Шла на базар Машка, а сбоку от дорожки, с орденами и медалями — муженек, и на колясочке-дощечке, будто полный инвалид. Истерзала сердце себе — он ли ОН? Но тут кинулся на муженька ординарец прилудного офицера, и вскинулось в Машке знамя, которое вынесла, в отличие от собственного ребятенка, и двинула она ординарца по уху, и сказала инвалиду: «Люблю!»

Инвалид чуть было не тронулся умом. Но спасло: признал в Машке Машку. И ты здесь, мать? Машка откликнулась: «Я с тобой всегда!» Понимающая публика намяла бока ординарцу, у офицера сорвала порочащие его свинское рыло золотые погоны, и раскатала его, офицера, по булыжной мостовой: по сей день латунные звездочки вкраплены в рижский камень. Машка совершила героический поступок. И не в первый раз! Знала бы, что уже издан Сталинский указ: всех инвалидов войны направить в санатории, а там на тот свет, чтобы не портили общий вид строительства коммунизма. В санатории — до излечения смертью. Знала бы тогда, думаю, притащила бы в свою клетушку всю исковерканную войной сотню рижских калек, исчезнувших в одночасье с наших детских горизонтов,— вместе со своими медалями. Но Машка не знала об указе Сталина. Она признала в «колесном» путешественнике Степку. А Степка признал в ней свою жену. И покатился, бренча иконостасом, за ней на улицу Шкюню. В подворотне Машка пожелала взять Степку на руки, чтобы вознести в квартиру, где дремал в это неподсудное время Петечка. Но Степка встал с колен, и — удивительно — на ноги. «Дура!» — сказал с апломбом.— «Не понимаешь, да? Нет у меня специальности! Я не научился жить, как э т и. Я все понимаю про Космос и Красную армию».

Степка взял под мышку колесную подставку для безногих инвалидов. Небрежно сплюнул на тротуар. И гордо сказал Машке: «Веди!».

— Но т а м Петечка.

— Я ему рога обломаю!

— Он тоже нездоровый,— вздохнула Машка, и слезы поползли по ступенькам.

Степка осознал: сказано лишнее. Какие к черту рога?! Выжить бы!

— Машка,— произнес твердо, потом запершило в горле. — Я тебя люблю! Я с тобой... Ты же мне снилась, мать твою, в лагере! Я с тобой наступал, отступал!.. И я? Я?! И контужен с тобой! И! Что ты, тварь небесная, понимаешь?

Машка в этот момент понимала мало. Понимала: сейчас заведет Степку в музейный Храм, а там — Петечка. Спросонья Петечка скажет Степке пару ласковых слов, и до амбуланта не докличешься, придется взять их обоих на колесной Степкиной верхивостке.

Эх ты, Машка, не дообразовалась! Не подгадала помыслами к праздничку. Ни Степку, ни Петечку не повезла на коляске. Бутылки возила на ней — целый месяц, из ближайшего магазинишка. Петечка — и спросонья признал в Степке друга своего — командарма, повелевшего жениться на Машке, при обнаружении оной в Москве. Петечка выполнил приказ после отбытия на излечение из штрафбата. В подмосковном

госпитале встретил Машеньку, санитарку, доложил ей, с уверенностью: командармом приказано жениться на тебе сразу по выздоровлении всех органов и членов. И — невероятное дело — слово не нарушил. Женился и приписался в госпиталь на вечную побывку. Прежде был он старшиной медицинской службы, им и остался до конца войны. До войны Машка была офицером, при отступлении — замполитом командарма, в госпитале — стала санитаркой, и считала — счастье привалило. Зачем погоны, зачем ордена, когда надо кушать? В госпитале еды хватало. Не будем ханжами: паек расписывали на живых и мертвых. Мертвым хавать нечем. Живые заменяли мертвых на боевом посту. И хавали во весь рот, во все зубарики. Петечка, старшина, ни разу не ошибся с учетом. Ни одна комиссия не подловила Петечку на дисбалансе. «Идет война,— вразумлял Петечка шибкую для дознания комиссию.— И мертвые, доложу вам, сраму не имут!» Комиссия осознала, что в госпитале шашлыками не пахнет. Выпивала по мензурке спирта, закусьвала окровавленным бинтом и утекала с личными донесениями под гусеницы вражеских танков. Петечка отнюдь не злодействовал в госпитале, как может показаться какому-нибудь тыловому пентюху. В госпитале, действительно, ничего съестного не было, кроме баб — медперсонала. Но бабы эти не годились ни плову, ни рагу по-татарски. Без этих баб все остальное население госпиталя ушло бы просто на тот свет. Поэтому не будем о госпитальных деликатесах. Что ели раненые, знает только Петечка. Но они ели, и более того, их потом выписывали на фронт. Поэтому Петечка, когда не под мухой, говорит: «Чтобы вы знали, чем я кормил их! Их я кормил своей кровью. А кровь живая — не водица, с калориями. Да».

Под мухой или не под мухой Петечка, он всегда честен. «Я и врагам своим не пожелаю кушать то, что кушали они. Но они — воевали! И чем больше кушали то, что и врагам не годится, тем злее воевали. Да убейте меня! Я-то в чем виноват?»

Петечка и впрямь виноват ни в чем не был. Товарищ Сталин тоже. Потому Петечка, увидев спросонья Степку, вмиг вышел из состояния равнобедренного треугольника, в котором каждый угол, по Петечке, равен сорока — под закусь — градусам. «Командарм! — вскрикнул Петечка — По стопарям! На третьего пригласим Петра Великого. Меншиков, невеликий гад, сам припрется, а с ним Катька. Не тушуйся! Выдюжим! Машка, в магазин! И в воде мы не утонем, и в огне мы не сгорим! Пропадай все пропадом! А дружба! Ох, Петр, сгинь с меня! На хер мне твоя Катерина, германского корню-приплоду. Я противу их немецких Катюх кровь проливал. И Степка, не совру, тоже. А вы? Шли бы вы!..»

...Все «начала начал» равнозначны по сути излюбленному мудрецами откровению: «в конце концов». Как жизнь ни крути, как ни изгаляйся, выведет сквозь соблазны, тщету и безумные порывы — на «круги своя». Каждый круг, как на спиленном дереве,— отражение прожитого.

Машке взглянуть бы в круги своей жизни, разобраться — за кого замуж пошла. Но попробуй взглядишь, когда крутит тебя по жизни, то справа налево, то слева направо, то вовсе по-цирковому — через голову? Например, была она замужем за Петечкой. Все чин чинарем, «по закону», — первый-то муж, знала, погиб смертью храбрых. Выяснилось, не погиб. И вот сваливается на нее увесистый указ Сталина: «Бабы, возвращайтесь к своим довоенным мужьям, иначе не помилую! Мужики, хватит вам баловаться со своими ППЖ — походно-полевыми женами, идите до хаты родной, блюдите мораль мою, Сталинскую».

Ну, не дилемма?

Машкин муж довоенный — Степка, недоучившийся курсант, командарм-окруженец и зека. Второй Машкин муж — Петечка, по Степкиному предсмертному приказу произведенный в оное звание, — старшина-хлеборез, кормилец и отец ее двух ненаглядных детишек — девочки и мальчика.

У Машки не было выхода. Податься к Степке, в соответствии с указом товарища Сталина, значит нарушить личный приказ командарма Степки, а он гласит — к Петечке. Податься к Петечке, обойдя указ товарища Сталина, значит обмануть ожидания правительства на безукоснительное исполнение предписаний и правил, примичуренных к матерому стволу гражданского долга.

Посочувствуем Машке. Ни в чем не виновата. Жила под приказом. В результате обнаружила себя женой двух мужиков, оба калеки ненормальные и пьяницы. А квартира — всего в одну — на расплюй — комнатушку, и хны в магазине нет! и ваты! И пеленок, хоть грудью на пулемет, не достать. И простынок. Детишки рождаются, будто прослышали где-то в своем небытии о требовании партии увеличить народонаселение и запретить аборт... Детишкам-то что? Пухленькие, розовенькие. Дай им сисыку и замолкнут, сопя. Но как справиться со Степкой и Петечкой? Один обалдуй к другому ревнует. Нажрутса в двугрудь и под икоту давай на пальцах считать. Этот — мой. И этот — мой. А этот поганец — твойного корня.

Наши они, общие — порывалась Машка к справедливости. А справедливость эта у мужиков на кулаках. Однажды ее осенило.

— От Петра Первого я зачала, царского сыночка вынесла.

Повернула ревность в другую сторону и сама рада не была. Почему? Да потому, что объявился третий ревнивец, вельможный стервец Меншиков, интриган и распутник. Трудно было переварить Меншикову, что Петр и на этот раз бабу у него украл. Стал накручивать Катьку, привил и ей гнусные мыслишки. Она и влепила Петру пощечину на глазах у всех — Степки и Петечки, Меншикова и Машки. Хорошо, что дети ничего не видели. Спали на полу, вдали от початых бутылок и ругани. Понятно, что оскорбление царского достоинства могло окончиться для свидетелей полной катастрофой. Но, как сказано выше, шпаги в том четвертом измерении, где пребывали обитатели музейной квартиры, теряли свою разящую силу. Там действовало только слово и сопутствующие ему эмоции. Петр, который царь, попробывал было унять растущую ревность мужиков вполне доходчивой фразой.

— Я ведь потусторонний.

Петр намекнул, что его деторождающая машинка не действует уже, почитай, триста лет. И конфузливо развел руками.

Петечку, естественно, намек не удовлетворил.

— И у меня машинка бездействует, а она, — указал на Машку, — все равно рожает.

Степка тоже сознался — для обличения Петра — в недееспособности.

И тогда все разом посмотрели на Меншикова. А он-то причем?

Машка сама сказала: понесла от Петра. Запутались все. Откупорили бутылку «Перцовки», трахнув ее доньшком о каблук. И потребовали настоящего следствия. Степка ни за что, ни про что отсидел срок в лагере. О судопроизводстве знал по опыту следующее: нужна тройка. Он да Петечка — это всего два. Кого пригласить на третьего? Если бы выпить, тогда ясно, проблем нет. А если судить законным судом? Пригласить Петра Первого? Но у него рыло в пуху: сам себя зачнет выгораживать. Меншикова? И он на подозрении. Катьку? она тоже, при жизни спала с двумя мужиками, с Петром и с Меншиковым. Могла бы пособить в дознании. Но и она, ревнивица, не соблюдает чистоту совести: ей бы Машку закопать, а там и трава не расти. Тройка никак не набиралась. И тут Степка вспомнил о друге своем — милиционере Язепе Мартыновиче, который водил его в участок, и всегда отпускал у ворот в это заведение. Милиционер жил в соседнем доме и время от времени получал от Степки, прежнего клиента по кличке Авось, премиальные за добросердечие — в виде приглашения быть за полцены третьим в складчине на поллитра. Милиционера кликнули, выделили ему местечко у стола и приступили к дознанию.

— С ним спала? — начал милиционер Язеп Мартынович, тыкая обличительным пальцем в Петечку, в самое его брюхо. Машка кусала губу. Стыдно было ей разоблачаться перед чужим мудаком с погонами. Однако не разоблачишься — то разоблачат, и еще хуже выйдет с непривычки.

— Язеп Мартынович, родненький,— залилась вдруг слезами.— Да как с ним не спать, с душегубом! Мой же он, законный муж. Пропади он пропадом!

Язеп Мартынович тоже смутился такого непредвиденного дознания. Хлопнул он стакашко, дернул кадыком. Повернул голову к Петечке:

— Так чем ты недоволен? Спала с тобой.

— А со Степкой — что — не спала?

Язеп Мартынович посопел для приличия. Строго осмотрел Машку — сверху донизу.

— И со Степкой спала? Да, мать?

— Он же пристаёт! — взорвалась Машка. — И закон на его стороне. Я же за него замуж пошла по любви, не по приказу.

Язеп Мартынович почесал за ухом.

— Выходит, ты никому не изменяешь?

Петечка вспыхнул:

— Мне!

Степка озверел:

— И мне тоже! Спроси у нее, дети-то чьи?

— Чьи дети?— спросил Язеп Мартынович.

— Мои,— ответила Машка.

— А родитель их кто?

— Первых двоих родитель Петечка.

— У тебя же пять, чтоб их не сглазить.

— Последнюю тройку мы прижили сообща.

— Вот видишь,— встрял Петечка,— скрывает родителя.

Степка разлил на троих.

— С ней завсегда так. Никогда путного слова не вырвешь.

Язеп Мартынович выпил с ними.

— А у вас какие соображения? Вы ведь, как разумею, завсегда на троих горазды.

Петечка был силен на «соображения».

— Допуск, мыслим, таков. У моих — мои глаза. У его пацанов — его глаза. А с пятым не разберемся. Один глаз голубой, другой карий. Поди разберись — чей он? Латыш, что ли? Может, твой, а ты запомятовал, а?

Язеп Мартынович посмотрел им в глаза, чтобы удостовериться — где перед ним глаза голубые, где — карие. И убедился: все-то они попутали. Не голубые у них глаза и не карие. Красные у них глаза. И светятся, как их носы,— нержавеющей пламенем. Икнул со страха. Хватить бутылку со стола, и из горлышка. Мужья-побратимы психа душевного не сдержали, накинулись на милиционера и давай его тузить за святотатство.

— Дознанщик! Обманщик! Нашего не отымешь! Наш он, родненький! Чтоб тебе белую горячку! А на закусь цирроз печени с зеленым горошком!

Язеп Мартынович повязал их обоих — за оскорбление мундира. И поволок в каталажку. В участке всем троим, пьяным в непродук, дали по пятнадцати суток. Когда же они вышли на волю, вдруг на их голову гром с ясного неба: Машка опять беременна. Получается, в их отсутствие нарушила супружескую верность. С кем, спрашивается? Петечка и Степка решили единогласно — с Петром Первым, больше не с кем, никто другой в их комнату по ночам не навевывается, разве что Меншиков да Катька. Но Катька отпадает по причине отсутствия детородного органа. А Менши-

ков? Тут Степку с Петечкой закуражило: Меншиков не отпадает. У него как раз наличествует тот самый, подозрительный во всех отношениях орган.

Машенька, прежде чем сообщить своим мужикам пренеприятное известие, приветила их после отсидки со всем возможным уважением. Полы в комнате вымыла. Простыни выстирала и погладила. Двухспальную кровать украсила вышитым ковриком с изображением сохатых на лунной полянке, у ручейка, отливающего цветом вермута. На стол выставила непочатую бутылку самогона, купленного из-под прилавка на рижском рынке. А между двух стаканчиков положила книгу: «Все о матери и ребенке». И лишь затем выложила новость. Беременна я, ребята. Ребята не поняли намека в виде книги «Все о матери и ребенке», завелись ревностью — интересно все же узнать, от кого? От Петра Великого? Или от собутыльника его частного Меншикова?

— Мы пятнадцать суток в отсутствие, а она...

— Она создает здесь присутствие. И беременеет лишний раз.

— Мальчики,— стала Машка на пальцах излагать содержание умной книги. Но напрасно она втолковывала в головы ревнивцев все научные данные о сперматозавриках, о строении матки, о регулярных месячных. Наконец, не выдержала: менструация только раз в месяц! Кто из вас помнит: была у меня в прошлом месяце менструация? То-то и оно! Не было. Я подумала было: ошибка природы. Но природа не ошибается. Не за пятнадцать этих последних дней я забеременела, а много раньше. Вас тогда только за получкой и можно было выгнать из дома. Помните?

Они не помнили решительно ничего. И снова кликнули Язепа Мартыновича на третьего. Всучили ему подозрительную книгу: читай! так ли там все написано, что Машка сочиняет.

Язеп Мартынович тоже был не силен в русской грамматике. По национальности он числился латышом, по вероисповеданию — интернационалистом, русский язык уважал, но только разговорный. Книгу прочесть не сумел. Однако, показать себя безграмотным постеснялся: мундир, честь, застарелый ревматизм, старшинские молотки. Словом, под видом «чтения» умной книги приступил к импровизированной лекции. Надо отдать должное, убедил таки Степку и Петечку, что детей приносит аист, когда не в будуне. И вообще, детей рождает мамка, если за девять месяцев до того забеременела при помощи детородного органа.

Стоило Язепу Мартыновичу напомнить о детородном органе, как Степка — на Петечку, Петечка на Степку, и набив друг другу морду, стали они нехорошим словом поминать Петра Первого и его казнокрада Меншикова. Те и явились.

— Вот они, голубчики! Чести нашей потрава!

Степка пальцем в Петра, Петечка — в Меншикова.

Язеп Мартынович не различил в комнатухе ни Петра, ни Меншикова, ни лыбящейся за ними Катьки. И слинял потихоньку от музейных реликвий, допив на ходу последний стаканчик. В участке ему пояснили: попадешь еще раз в такую историю, молотки с плечей отнимем, и будешь до старости лет рядовым выпивохой, годным лишь в утиль.

Язеп Мартынович, как сказано, слинял от неприятностей. При них остались Степка, Петечка, Машка, да призванные с того света Петр Первый, Меншиков и Катька. Время на дворе стояло вполне историческое, определяющее не закусь, а самый всамделишный ужин. За дверью, в прихожей Петра, то бишь зале, кряхтели от натуги примусы и керогазки, выдавливая из кастрюль благовонные запахи. Видимо, запахи эти и заманили по крутой лестнице на верхотуру западных туристов. Но за минуту до них приперся какой-то усатенький в штатском, и ну кричать:

— Туши вашу кухню! Прячь копилки! Окна открывай!

Машка всплеснула руками — ой! и бегом от судилища: по опыту знала — расторопные соседки утащат ее варево, Степке и Петечке кушать будет нечего.

Степка пошмыгал носом, пряча глаза от Петра Первого.

— Всегда так. Без предупреждения. Ведут их, как на распыл...

Петечка потупился, и ему было неудобно.

— Хоть бы раз заранее оповестили.— Нет, не в их правилах оповещать заранее. Голубые петлицы.

Петр дал знак Меншикову: пора улепетывать.

— Нет,— показал ему кулак Петечка.— Пришли, так будьте очевидцами! Ради вас эти гады прут, а нам кушанье выплескивать — да!?

Машенька, счастливая, вся в довольной улыбке, впорхнула в комнату. Борщ не расплескала, и керосинку уберегла в объятиях от чужих загребущих рук. Потом ведь не дознаешься, чья была керосинка. Все они на один лад.

— Немцы,— доложила Машенька старшему по званию Степке. Тот потянулся к сучковатой палке, Петечка к подкове, которую берег под рубахой для счастья на случай непредвиденной драки. Оба ощутили себя — на передовой, в подмосковном лесу, когда в рядах инвалидной команды перепили врагов, а затем поломали их насмерть. Хватили по полному стакану и завели дуэтом:

— Их либер вас, и все бывшее...

Дверь в их комнату приоткрылась с любопытством. В щель просунулась пивная, с глянцевым румянцем, физиономия.

— Майн гот! — воскликнула физиономия.— Степка! Командарм! Их бин!.. Шнапс! — физиономия оплыла слезами, заколыхалась в воздухе, и вдруг пропела: — И в отделе мы не тонем, и во гнили не сгореть!

Степка признал в физиономии Ганса, которому лично камнем проломал голову тогда, в сорок первом, в разгар междуусобного поддатия.

— Ганс! Ты ли?

— Жив курилки! — сказал Ганс и с трудом втиснул свое безразмерное тело в клетушку, животом прижав, сам того не заметив, Петра, Меншикова и Катюку к противоположной стенке.

— И как твое поживает? — Степка уже наливал Гансу «штрафную».

— Как в песне вашей — «Их либер вас, и все бывшее...»

Из разговора быстро опьяневших людей выяснилось, что Степка совершил благородный поступок, трахнув Ганса по голове камнем. Ганс попал в плен. Там его отремонтировали, частично обучили русскому языку и политграмоте, и он стал вещать в репродуктор, по ту сторону фронта, о великих деяниях товарища Сталина: каждому по потребности, одному квартира, другому пиджак, первому секретарю — персональная автомашина, рабочему — бесплатный вытрезвитель, крестьянке — запрет на аборт, свинке-подружке — великий опорос.

Теперь Ганс сам себе голова. У него персональная машина и персональная дача. Но такого успеха, как Степка, он не достиг, к сожалению. Гид сообщил! Степке за ратные подвиги выделили музейные хоромы самого Петра Первого. О таком почитании прав инвалида войны в Германии еще и не мечтают.

Потом Степка был признателен Петечке за то, что тот удержал его руку на взлете. Удар бутылкой по маковке, по их общему мнению, мог иметь роковые последствия не только для Ганса. Пришлось, скрепя сердце, разлить. «Опять пьет нашу кровушку на дармовщину!» — проклянулось в Степкино ухо. Но Машка — умница — притушила Петечкино бормотание: «А борщца отведуете?»

Петр Великий — в этом Степка мог поклясться — бледнел от унижения русского оружия — бутылки. Но что он мог поделать, вжатый в стену брюхом немца, когда шпага — всего лишь потусторонняя игрушка.

Немецкий гость имел достойное хлебало, равное, может быть, русскому хлебо-сольству. В пять минут он обожрал бы своих кормильцев на месяц вперед, но спасло явление гида. Гид выволок Ганса из круга дружеской попойки, намекнул о стынушем в гостинице обеде. Немец привык подчиняться распорядку и неохотно поднялся с табуретки. На прощанье сказал — «Их либер вас...» И удалился, высвободив у столика место для Петра Первого, Меншикова и Катьки.

— Вздрогнем.

Степка вылил в себя стакан самогонки, а за окно — борщ из предложенной Гансу миски.

Петр Первый пожаловал Степке звезду со своего камзола, но она тотчас растворилась на пропахшей едким синильным потом рубахе кавалера небесного ордена.

— И тут не везет,— вздохнул человек. Чокнулся с Петечкой.— Споем, что ли?

И спели: позабыт, позаброшен с молодых, юных лет....

— Эх вы!..— грустно откликнулась на их песню Машка.— Я беременна, а вы поете.

— Родишь, мать.

— Рожу. Конечно, рожу. Куда мне деваться? А он?..

— И он не пропадет. В тесноте, но не в обиде,— заметил Петечка по-народному.

Степка усмехнулся чему-то тайному, что давно стало явным.

— Софья Власьевна и его пристроит, если не расстреляет.

И вновь в голос, дразня силой не загибающегося духа соседей: и в воде мы не утонем, и в огне мы не сгорим! Петру Первому стало совестно. Он подмигнул Меншикову и давай полегонечку растворяться в воздухе. Степка едва успел прихватить его за рукав камзола.

— Не спеши, любя. Все т а м будем. Мы еще т у т дознание не произвели.

— Сознавайся,— подгадал к его мысли Петечка,— ты забрюхатил Машку?

— Да что вы? Окститесь!

Так какого хрена ты к нам прешься тогда, чумазый?

— Это секрет, так сказать, личного свойства.

— Не разгласим! Будь спок. Научены расписываться о неразглашении.

После этих слов, вырванных душевным взрывом из сердца Степки, напрашивается передышка, как в боксе,— минута на размышление. Между раундами легко мыслить неразбитой частью мозга и создавать удобные для продолжения боя концепции. Степка кинул руку к бутылке, разлил по совести. А после не провозгласил привычное — «вздрогнем!» После разлития закурил папиросу, из дешевых, по имени «Север».

Степка был там, на севере. Цену названия папирос знает. Потому не курил ни «Казбек», ни «Герцеговину Флор».

Петечка пытливо всматривался в курящего Степку. По старой привычке полагал: командарм выдюжит, пусть сблюет пару раз, но из окружения выведет; а в штрафбат попадет, и там врагам не дастся; его, Петечку, грудью своей прикроет. Так и было дело, если разобраться. Степка прикрыл Петечку грудью своей, когда стали рваться шрапнели. Поэтому Петечке угодило только в неприкрытый Степкой зад. Степку, на беду, контузило. Бывало, вспоминали они по пьянке о тех героических временах. Петечка дурака валял «Степка, а почему ты жопу мне не укрыл своим броневойным телом?» Степка смеялся: «Своей жопы жалко было». Петечка гундосил не для оскорбления, для шутки: «Вот и получил по башке контузию». Степка шлепал ладонью себя по голове и опять смеялся: «Моя контузия — чепуха, лагерем излечимая. А налег бы на тебя, а?» Тут уж Петечка не выдерживал приступов веселья: «Педарастом тебя, стало быть, назвали бы, да?» И оба хохотали до придури, которая прихватывала их часто, потворствуя тяжелым увечьям-ранениям.

У Петра Первого, у Меншикова — как ни гляди — ранений не видно. Морды откормленные, усики, парики причесанные, завитые. Кем был Петр на войне, если подумать трезво? Таким же простым командармом, как он, Степка. И ничего — в лагерь его не толкали, фугасом по чайнику не шарахали. То-то отрастил физию, перекачал чугунное литье пушек на свой мордovorot. И пристаёт с «секретами», будто мы разгласим. А мы — ни на нюх табака!

Мы и психиатру хрен чего доложили. А пытал, сволота! Приставал с распросами! «Давно ли знаком с Петром Первым?» Надо быть дураком, чтобы запечатать себя в ящик, под раскляю такого идиотского вопроса. «С Петром Первым знаком с детства. По учебникам. Потом по известному всем лагерным придуркам кинофильму»

Следующий вопрос, тоже идиотский:

«В жизни Петр Первый выглядит так же, как в кино или в ... учебниках!»

«Иди на!.. и без привета родителям! В жизни все выглядит иначе, не так как в кино и в учебниках!»

«Вы хорошо знаете жизнь?»

«Насмотрелся!»

«Петр Первый — как по-вашему — знал жизнь?»

«Не покупай, шкура! Даже по учебникам видно: Петр знал жизнь только на эшафотах!»

«Простите, но т а м — смерть»

«Вот он и знал смерть под видом жизни. Много пил и не скурвился!»

«А вы?»

«Что? Я?»

«Много пьете?»

«Я не скурвился, пойми, душа-человек. Или — ... в щепки!»

«Я ведь не дерево... Как вы можете говорить обо мне «в щепки?»»

«У, дуб! Шел бы ты по адресу, на!.....»

«Повторяю, я не дерево. У дерева ног нет. Куда ходить дереву без ног?»

«В космическое пространство. В Неизмерь-Тараканище! В подлунный мир, где пасутся сохатые, Машки моей производства!»

«А вы бывали в космосе?»

«Я бывал на фронте, потом в лагере. Потом опять на фронте. Я кровь проливал за подлунный мир. И что — наружу? Там пасутся сохатые, Машки моей производства.»

«Вы вменяемый?»

«Фраер, ты требуешь юмор, их бин компот с вишнями. Я вменяемый — со всеми вытекающими... наружу. Ха! И про Космос знаю, и про Красную Армию!»

«Поделитесь, гражданин Коробейников, знаниями.»

«С тобой, земля?»

«Со мной.»

«Про Красную Армию — знаю. «Красная Армия всех сильнее» — по песне.»

«А в действительности?»

«Я контужен. Это — действительность!»

«Согласен, у вас, как помню из истории вашей болезни, тяжелая контузия. Более того — повышенная возбудимость и нервные рефлексии...»

«У меня — повышенная возбудимость на водку. А если без водки — просто на градусы. Но нервную систему не трожь! Она нормальная! Иначе — расколочу! И уже не о щепках пойдет разговор. А о русском лесе!.. Рубят?.. Щепки — и летят!.. Я в Сибири, на повале...»

«Говорили другое — Колыма! А там, считай, деревья не рождаются, даже по праздникам.»

«Дрянь-человек! Я в Сибири родился. До Колымы этой ссученой! Колыма... двенадцать месяцев зима, остальное — лето. Что там есть, кроме Космоса?

«Вот про Космос мне и расскажите. Про Красную Армию знаю и без вашего — «всех сильней», как в песне».

«Про Космос хочешь знать, щучья морда? А что ты знаешь о нем?»

«Ничего, поэтому и задаю тривиальный вопрос».

«Я на Колыме отыскал Космос! Копал-копал золотишко — штык супротив задницы. Золотишко не откопал. Откопал динозавра. А на хребте у него — железо. Пластина, понял? Тогда! Дошло? В те времена железо еще не добывали на Урале. Вник, пустозвон? Вникни и повяжи себя мыслью. В те времена, в динозаврины, железо еще не родилось даже на нашем Урале, а ведь железо было нержавеющей! Свежее, как масло! Химическое. И на нем — письма!»

«Библейские?»

«Да ты антисемит!»

«Я врач-психиатр!»

«По тебе видно!»

«А по письмам?»

«Что — по письмам? По ним ничего не видно. Половина из нас в лагере и на русском языке не петрила... А ты хочешь — чтобы по-иностранному? Да еще по-древнееврейски?»

«Там и на иврите было?»

«Было. Древнееврейские наши мужики подступались к железу, но тут указ вышел: после прочтения — смерть. Очень уж секретная была штукавина. Делеша, то бишь, космическая».

«И ты с умной своей головой?!!»

«Я — с умной своей головой — прочитал! И доложу тебе, товарищ ученый от науки Психиатрии, преуспел в расшифровке. Т а м, на железуке этой было написано, имей в виду, и по-алкогольному. Хрена прочтаете Э Т О когда-нибудь. Не допили, обормоты, крови нашей народной. А там послание в 2000-й год, и дальше. Но не Сталину. А кому — не скажу. Он еще маленький. И живет в нашем доме. Наверде местной достопримечательности».

Невероятно, но Степка перехитрил психиатра, выставив меня, неподсудного по возрасту и вполне лояльного власти по той же причине, адресатом уфологического послания из далеких миров. Проще подумать, психиатр был сам болен на голову. Но в Степкином — т о м — положении подумать т а к было «не проще». Степка, если говорить с полной откровенностью, специально притворялся алкоголиком: с пьяницы, помнил, со времен Петра Первого, все спешут, кроме зачачки. Степка притворялся алкоголиком затем, чтобы сохранить тайну Космоса, железную телеграмму, отправленную братьями по разуму с какой-то Звезды (небесной, не с кителя) — во времена допотопные. Степка добыл динозавра и по приказу полковника Слонимского оторвал железуку от хребта панцирного. И, конечно, не был и т о г д а дураком. Космическую депешу припрятал в робе, а вместо нее вручил высокому лагерному начальству кусок отрихтованной обечайки от пожарной бочки, где изредка топили ссучившихся вождей маленького их колымского лагеря. Обечайка, понятно и химикам, проржавела и выдала на поверхность буквы. По буквам этим, если их сложить по-трезвому и расшифровать, видно: полковник Слонимский и впрямь заслужил орден, а потом нагоняй. Матерные пропечатались буквы на обечайке.

...Время Надежд обусловлено призывами к Бдительности. Время Надежд согласуется со временем Утраченных Иллюзий. Представьте себе: Бдительность женится на Иллюзии. И родит детишек. Они иллюзорно бдительны. Или бдительны до иллюзий. Глазки у них красные, но в зеркале смотрятся по-иному: голубыми или карими, в

зависимости от того, в какой бинокль — полевой или театральный — изучать зеркало. А зеркало изучать не надо. Зеркало изучает нас. Зеркало — лучший психолог в мире. Ждете от меня голубых глазок — пожалуйста. Ждете карих — получите с избытком. Но не ждите от меня красных ваших глаз: будете обвинять в искажении действительности и расколоте бутылкой! Своя жизнь — дороже. А прожито... Сколько морд привечено моим стеклом. Сколько гнусных рож подгримировано им. Разве ищут рожи в зеркале морду раскаблученную? Ищут лицо, полное простора душевного, голубую или карюю отдушину небесного дыхания, ибо впечатано: глаза — зеркало души. На самом деле, трудно сыскать зеркала более лживые. Толстой, надо полагать, был прав для своего века. Век двадцатый — этого Толстой не предугадал — бил прежде всего по глазам. Покажи, какие у тебя глаза, и я скажу, кто друг твой! Защищая друга, научились «показывать» глаза — в нужном для исторического момента освещении. Нужны вам глаза карие — «их есть у меня». Нужны голубые — взглянитесь, и отыщете. Однако — почти у всех глаза красные, цвета пролитой «за глаза» крови. Подумайте, даже ваши натруженные вены изображают себя в голубом одеянии: не дай бог, подумаете — кровь-то в них красная. Каково же, прикиньте, зеркалу? Даже вены, и те приспособились! А зеркалу — сам Дьявол велел. Зеркало — слишком тонкое — не стеклом, а сущностью. Вены взрезать себе не каждый горазд. А зеркало расколоть — каждый, покажись ему только в истинном свете! Однако, нервные эти, влюбленные в свое искаженное изображение — правильное — нервные эти вряд ли сознают, что зеркало, как фотопленка, таит в себе истинное их изображение. Когда Бдительность из Времени Надежд состарится вместе с женой своей Илюзией, эта супружеская пара внезапно увидит себя, как на экране, в старом, всю жизнь сопутствующем им зеркале. И подавятся они своей юношески-девичьей красотой. Внукам бы их не подглядывать в это Разящее Памятники Время.

Время... По сей день не видно на небосклоне Эйнштейна, способного разгадать законы его движения. Физикам не дано. А писателям — спишется. Для писателей время — это всего лишь пространство: от детства к старости, от старости к детству, от Нерона — к Сталину, от Сталина — к Марксу. Писатель властен над временем, хотя и не властен над собственной плотью, честолюбием и денежными сбережениями. Повернем время вспять. В ту минуту, вырванную душевным взрывом из сердца Степки, в ту минуту, когда напрашивается передышка, как в боксе, на размышление. Минута эта истекла. И вновь клетушка музейная: Петр Первый, Меншиков, Катька, а у стола Степка, Петечка и Машка. Чья возьмет?

— Сознаться! — тянет Петечка на Петра Первого. — Ты забрюхатил Машку?

— Да что вы, окститесь! — защищается Петр.

— Так какого ты к нам прешься, тогда, чумазый? — бунтует по вполне понятной причине Степка.

— Это секрет, так сказать, личного свойства.

— Не разгласим!

Теперь, спустя столько лет, когда — за давностью, разрешено публиковать архивы немецкой и английской разведок, когда и русская разведка склоняется к мысли — публиковать за валюту, теперь, казалось бы, можно разгласить секрет Петра Первого, выданный тогда в перенаселенной комнатухе Степке. Время — настало. Но Степкина клятва — тверже космического железа, подаренного мне в обмен на два поллитра и дюжину пива. Сказал «не разгласим!» — и не разгласил — никому! никогда!!! Даже мне не разгласил, когда я приезжал а Ригу туристом, с полным саквояжем «Смирновки». «Смирновку» он пил как лекарство — «чистая, словно спирт!»

Но тайну свою оберегал до последнего штофа. Потом вдруг расплакался и, отирая слезы, признался: да ничего я и не помню! Ни-че-го-шень-ки!!! Помню — Петр

Первый. Помню — пристал я к нему: раскалывайся! Помню — он сказал свой секрет. А что сказал, хоть убей — не помню. Контуженый я. Выпьем? А, Финечка?

Мы выпили из рюмок. Новые времена сменили стакашки на рюмки. Закусили шпротами израильского производства. Снова выпили. Снова закусили.

— А железку ты сохранил? — спросил Степка.

— Конечно.

— Космическая?

— Ясное дело.

— И на ней написано?

— Ты же, Степка, читал....

— Но там не русскими письменами.

— Расшифровывают. В научном институте. По дальней космической связи.

— И что?

— Степка, у тебя был посредник для расшифровки, так я думаю, Петр Первый. Нам бы его сейчас на третьего.

— Не является. Обиделся, должно быть. Я из него секрет вынул. А потом запамятовал. Во — дура! А хрен с ним, с этим секретом! Прорвемся! Железка-то настоящая?

— Да. Наши химики, израильские специалисты, определили, что чистое химическое железо, а ему издержку нет — хоть в миллион лет.

— Значит, прочитают...

И мы снова выпили. Вскрыли банку с тевериадскими сардинами.

— Эти, что ль, с того озера, моря по-вашему? — поинтересовался Петечка.— Ну, с того, где Иисус ходил во воде пешком?

— С него.

Машка ввела в комнату шестерых своих, пятеро — бравые молодцы, шестая, на самом деле, первая — девица, уже, правда, с ребеночком.

— Узнаешь?

Как их узнать? Когда они рождались, я был еще маленьким.

Степка мне подмигнул: «Не узнаешь. Я теперь их сам не узнаю. Одни за меня, другие за Петечку. Я за русский интернационализм. А Петечка за латышский фронт. Вот и деремся теперь. Кто за кого — непонятно. То ли я за своих детей, то ли противу их — не знаю. Мы ведь так и не разобрались, чьи они дети. А они — только теперь доходит, сами по себе. Не мои. Не Петечкины. Да и не Машкины, ну ее! Катькиного блуда они дети. А Катька кто? Немка, латышского приплода. Доходит? То-то! Умирать нам рановато, есть у нас еще дома дела».



Сергей Гора

(г. Линкольн, Калифорния, США)

МАЙСКИЙ ВЕЧЕР

(...ни о чем)



Листвой шая,
зашелестел про вечер
бриз.

И предзакатный
океан
зарозовел.

Открылись тайны
хрустала
в свеченьи брызг.

А в огоньках
на яхтах —
тайны каравелл.

Давай, с тобой
порассуждаем
«ни о чем»,

Ведь темы все
уже давно
обсуждены.

Луну над маем
окрестим
простым мячом,

Гонимым небом
в сетку
звездной стороны.

...Спустился вечер
невидимкой,
как всегда.

И по привычке лег
на нимбы
фонарей.

У пирса в дымке
хитро
спряталась вода,

Чтоб исключить
любой намек
на сны морей.

Давай, со мною
«ни о чем»
заговори,—

Верну всех слов
полутона
в вечерний спектр.

...Ведь даже
самый строгий,
в черном, рефери

Луну не ставит
на «одинадцатый
метр».

В суть устремленный
разговор —
для скучных зим.

Не майский берег —
казуистика
речей.

Пусть
все влюбленные
сочтут мой вздор
своим,

Я твердо верю:
он, во-истину,
ничей!

Эх, майский вечер —
тем седея
борода.

Не освежить ее
словесному
ручью.

Давай, с тобой
поговорим
про «никогда»

И в результате
согласимся
на ничью...

...Лучился
млечный огонек,—
«не жег напалм»,

Ведь вопреки
пустой лирической
молве,

Наш майский вечер
 к нам спустился,—
 не упал,
И не ударил
 красотой
 по голове.
...Закат включает
 на прощание
 ноктюрн,
Где океан
 с луной двуличной
 обручен,
Качая часк
 на волнах
 у края дюн.
И шепчет ветер,
 как обычно,
 «ни о чем».

